

* * *

Да что страна, ее леса и недра,
когда с какой ни глянешь стороны —
страна всего лишь продолженье неба,
как небо — продолжение страны.

И только снег, летящий мимо, мимо
чужих домов, где мог бы жить и я,
напоминает о единстве мира,
единстве быта и небытия.

Ведь в сумерках, лишенных дара речи,
так поступь снега сказочно легка,
что от покатых крыш Замоскворечья
почти неотличимы облака.

И кем бы мы ни стали, обессилов, —
вечерней тенью, облаком, золой —
когда-нибудь небесная Россия
соединится с русской землей.

* * *

Я воровал березовые чурки
и соскребал с коры сосновый клей,
чтобы в огне обшарпанной печурки
моей осине было веселей.

И словно растревоженные мысли,
где каждая по-своему права,
чернильным дымом из печи, как мыши,
бежали в небо мокрые дрова.

Я жил, нигде не прикипая к месту,
и руки примерзали к топору,
когда, скрипя, торжественную мессу
осины совершали поутру.

Я жил в краях, где из-под ледостава
бездомные ломились топляки,
но злая, подозрительная слава
брела за мной вдоль берега реки

и темным лесом, тропками прошитом,
где, не предав ни Ягве, ни Христа,
я шел снегами Вечным русским Жидом,
и мне вослед свистели поезда.

А впереди, отмеривая даты
и километры, плелся зимний лес –
как Моисей, седой и бородастый,
и как Христос, вернувшийся с небес.

* * *

Кругом песок.
И лица – как из гипса.
И неба расползающийся шелк.
Наверно, я не вышел из Египта.
А если вышел – так и не дошел

до купины, до истины, до света
и до обломков золотых тельцов.
И без меня святой Ковчег Завета
пылал на спинах новых мудрецов.

Они меня нарочно не пустили
на этот пир, закрывшись на засов.
И мне уже не выйти из пустыни
и не догнать отцов и праотцов.

И я пошел по зимникам, заимкам,
в краю, где мир сугробами зачат,
где в зимнем небе моментальным снимком
тоскует замороженный закат.

Кругом снега.
Замерзшие осины.
И схваченная инеем луна.
И мне уже не выйти из России,
пока в снегах не вспыхнет купина.

Запятые птицами упорхнут
с пожелтевших страниц, едва
полевая гроза просвистит, как кнут,
перемешивая слова.

Потому что в начале был звук в ночи,
а не слово, не жест, не мысль.
Жизнь рождалась, как яростный треск в печи,
из которой бежала мышь.

И останется только этот треск,
эта мышь из пещной норы.
Ну, а я, дорогая, всего лишь текст,
недописанный до поры.

А еще – собака. Я весь, как есть,
слышу все, чем живет навоз.
Оттого и страсть к перемене мест,
что бежит от тела, услышав весть,
непутевый собачий хвост.

Триптих

1

А мне господь не дал проводника.
Не понимая, где восток, где – запад,
сорвавшись, словно сука с поводка,
бегу, ориентируясь на запах,

под бесконечным ливнем октября,
по осени, по прошлогодней гнили,
мне черт – не черт,
Вергилий – не Вергилий,
а впереди – ни дна, ни фонаря,

ни улиц, ни зарубки на пеньке,
ни звука.
Лишь у мусорного бака,
задравши лапу, писает собака,
рисую схему жизни на песке.

2

Зачем дорога, если нет конца
дороги?
Для чего в краю осиновом,
играя роли сына и отца,
не быть, по сути, ни отцом, ни сыном,

ни мастером, ни глиною? Зачем
продрогшим псом под бесконечным ливнем,
изнемогая от житейских схем,
бежать стремглав за журавлиным клином?

Свободы нет!
Незримый поводырь
меняет вечность на часы и годы.
Но горизонт, изъеденный до дыр,
еще таит иллюзию свободы.

3

Как хочется на круге на шестом
или седьмом, когда иссякнет вера,
остановиться, возвратиться в дом
и в дураках оставить Люцифера.

Но нет уже ни дома, ни крыльца
в пространстве, где ни выхода, ни входа.
Как сладостна, как гибельна свобода,
лишенная начала и конца.

Ревет огонь. Изнемогает ночь.
И прямо посреди кипящей бездны,
выламываясь из привычных нот,
безумствует симфония победы.